

Шахимарден

Приключение, бывшее летом на даче

Дедушкина дача словно флигелек. Комнаты в ней походили на тупички коридорчиков, и лишь терраса была вольной и интересной. Округлая и высокая, она напоминала площадку для циркового оркестрика.

Дедушкина дача стояла довольно далеко от дачного поселка, в свое время земля там была не по возможности дорогая, и дедушка купил этот участок несколько в стороне у одного подмосковного помещика, рассчитывая, что в скором времени дачный поселок разрастется, и мы сольемся вместе со всеми. Почему я знаю? Тетя Стася часто говорит мне об этом, все еще решая: верно ли поступил ее батюшка. То есть мой дед. Он умер.

Вообще из всей нашей семьи остались живы только тетя Стася и я. Вдруг мы остались одни, и такое чувство, что никто и не умирал. Словно что-то случилось в Москве и нам досадно, почему нас держат в неизвестности и почему хотя бы не привезут детей. Но вот уже шел пятый год нашего затворничества, хотя, быть может, и шестой. Нет, решительно не помню. Не помню и не желаю помнить.

Тетя Стася милая, седая и полноватая женщина. Волосы она укладывает гладко, курит и, когда у нас немного денег, покупает себе пачку папирос. Тетя Стася переводит с немецкого, в основном технический текст, но за работой для нее в Москву езжу я. Несколько раз в год. В Москве у тети Стаси в одной из редакционных коллегий приятельница. Они знали еще в прошлом веке, а года три назад мы ездили в город продавать самовар редкой работы и там на рынке встретили ее. К нашему теперешнему терпимому благополучью.

Сейчас она, ну тети-Стасина приятельница, единственная наша знакомая в Москве. Другие адреса потеряны, да и кого сейчас найдешь на прежних квартирах? С ней одной я и встречаюсь, принимая заказы. Я не люблю ее. Может быть, мир действ и только изменился к худшему, но то, что мы оторваны от жизни и людей, она воспринимает как дар судьбы. «Бог мой, Ирина, – восклицает она при редких встречах. – Ты, к счастью, не представляешь весь ужас нашего существования! Российская действительность этих, извини меня, пролетариев... Мы, русская интеллигенция, – изгой. Постоянные унижения, требования жить, как плебеи, говорить на их гадком языке!» Я слушаю, молчу и думаю: «А плебеи непременно желают жить, как она, и что смешнее всего: говорить, как она – интеллигентно. Ха-ха». Тети-Стасина знакомая же с гримасами плохой

актрисочки на сытом розовом личике твердит шепотом о нынешнем разврате, о бандитах, о том, что власти решили издать декрет об изъятии у всего населения имущества, даже одежды, а всем выдадут шинели. Меня ее слова не возмущают и даже не пугают. И даже не оттого, что они глупы. Просто все стало глубоко безразлично. Да, того, что я успела перенести, этой бы дамочке не выдержать, рыхлая она, кажется, из купчих. Но на как-то случилось, что мы с тетей Стасей даже не смеем говорить о возвращении в Москву. А когда я все же заговариваю об этом, тетя Стася пугается, стыдится и, не глядя мне в лицо, суетливо трет ладони скомканным платком, начиная говорить о невыплаченных долгах и что их никак нельзя не платить и надо думать (тут шепотком): ведется следствие... Она закликает меня вести себя в Москве осмотрительней...

Быть может, это старческая меланхолия? Впрочем, нет. Причина ее страхов совсем в другом, я ведь знаю. Но молчу. Я потерялась.

Иногда я делаю отчаянные попытки разобраться, что же случилось? Отчего так? Ведь мы ничего плохого не сделали людям, так почему же не можем быть среди людей? Я часто вспоминаю слова, нет, больше не слова, а недоумение одной крестьянки. Сейчас я знаю, она была еще девчонкой, но как-то думалось тогда, что все они просто крестьянки без лиц и возраста. Одно лето она помогала нам с матушкой варить варенье. Как она сказала? «Мир у вас чудной, барышня. Я, барышня, не боязливая, руки у меня вон какие сильные, а как ваши придут в сад и начнут говорить разное и ходят по-особому, по чину, и манеры обратно. Ведь не немцы жеть, православные, а боязно». Вот и для меня сейчас Москва – неясная иноземная сторона, пугающая, далекая. Русские, но другие. Скорее, не те русские, каких я помню, они стали другими. Хотя бы одно: в Москве никогда не бегали. Принято было прохаживаться, если не нужен был экипаж. Сейчас же все бегут, бегут, бегут! Почему? Наивно, но и это меня пугает, не говоря уже о появившемся у многих москвичей цепком взгляде. Уставится такой в трамвае – и хоть сама беги. Да и москвичи ли они? Кто же теперь определит... Нет, не такая я уж клуша, чтобы не понимать политику и революцию, но все так резко сдвинулось, случилось, столько близких и родных тебе людей ушло и поггло... и год за годом проходят, а мы, как сорвавшиеся с конки пассажиры, остаемся в прошлом, если хотите, прикрытом удушливой старческой меланхолией тети Стаси. Я осознаю, что когда-то не решилась сделать всего один шаг, достаточно много лет назад, но теперь между моим «чудным миром барышни» и той страной Советов – пропасть, и я, старая дева, смею только ждать: вот Он придет, уверенный и сильный, мне, кажется, уже в годах, лицо и одежду я не представляю, протянет руку и... Ох, глупая!

И это скверное лето. Душно, безветрие, какая-то африканская жара. На террасе дачки можно быть только ранним утром, когда еще чувствуется ночная свежесть. В то утро я видела с террасы человека. Он вышел из дачного поселка, ходил по полю, жестко ковырял тростью сухую землю, а потом колотил ею столб. Обыкновенный телеграфный столб. Страшно его было

видеть на оголенной проселочной дороге в строгом костюме и фетровой шляпе, да еще за таким комичным занятием. Я узнала его. Это был тот знаменитый поэт, которого тети-Стасина приятельница мне издали показывала в редакции и говорила, что его печатают по распоряжению ЧК. «Рифмач газетных передовичек. Мы, потомственная великорусская интеллигенция, встречаем его преарительным молчанием. А некоторые, даже рискуя своим положением, неоднократно пускали ему вслед смешки. Хам и бандит».

– Кто это, как ты думаешь, Ирина? – спросила меня, становясь рядом со мной, тетя Стася, – голос ее прозвучал настороженно: редко кто так близко подходил к нашей монашеской обители.

– Поэт, тетя Стася.

– Да? Какой сердитый молодой человек. Так он сломает столб.

Я промолчала. Последние месяцы мне стало особенно тяжело с ней. Я старалась как можно реже и меньше бывать с ней, говорить, тем более вспоминать. Она это чувствовала, конечно, чувствовала, и как-то усердно-навязчиво старалась мне угодить, притвориться веселой, пыталась шутить, но все у нее не складывалось, как у одряхлевшего, смертельно уставшего жить, всем уже давно надоевшего шута.

– Ирина, как ты думаешь, что он здесь делает?

– Не знаю, – ответила я. – Столб чинит?

– Разве столбы чинят?

– Электрические монтеры – да.

– Если так, я думаю, что мы можем его пригласить на чашечку чая. Ведь все равно он скоро устанет и, видимо, попросит у нас немного воды... чтобы остыть, – и она рассмеялась, стараясь прикинуться беспечной дачницей. Я знаю, в душе она сейчас ужасно трусила этого непонятого господина с его более чем странной выходкой. На чашечку чая! Каково?! Ну что ж, коли просится...

– Хорошо, тетя Стася, – отвечала я и сбежала вниз.

– Ирина, да ты что?! – услышала я за собой испуганный возглас.

Но я уже не могла остановиться, я устала ждать, таиться, невинно стареть. Я устала верить, что этот мир мне чужд, а стоявший в двухстах шагах от нашей дачи человек – хам и бандит. Я подошла к нему и встала рядом. Он был очень большой.

– Прошу прощения, – обратилась я к нему громко и с вызовом. – Но тетя Стася беспокоится, что вы можете повредить столб.

Почему-то я надеялась, что он меня не услышит и я, сказав что-нибудь нелепое, повернусь и, вполне довольная жутким приключением, уйду. Но он перестал стучать палкой и посмотрел на меня высоко сверху. Взгляд его был неподвижно-страшен. Кожа на лице его была гладка и отлакирована внутренним, как у китайца, высокомерием, но губы... губы! Губы сглаживались, выбухали, кривились, жили помимо его воли, как у пятилетнего ребенка, дрожали. Они предавали его, выдавая чувства отвращения,

брезгливости, обиды. С таким лицом, верно, истязают себя хлысты. И в эту секунду я вдруг осознала, что хочу бить палкой, конечно не столб, а его самого. Этого мужчину. У меня, кажется, слюна даже потекла. Я быстро прикрыла рукой рот и как можно незаметнее утерлась. Кажется, он понял мое гнусное желание. Мне стало еще более жутко, хотелось креститься и бежать, отмахиваясь руками, но я продолжала, как сомнамбула:

– Здесь так беден пейзаж, что буквально каждый столб нам дорог. Нужно думать, что и он когда-то был деревом. Зеленым, наверное ...

Он не мигая смотрел на меня, еще мгновение его лицо оставалось прежним, но вот он надолго задержал дыхание и улыбнулся, словно позер. Он протянул мне свою дубовую трость и произнес:

– Не желаете? – и тут же сам одеревенел, как немилосердно поколоченный столб.

Прошла, наверное, вечность. Солнце миллион раз всходило на западе и садилось за горизонт на востоке.

– Сколько тебе лет, девочка? – спросил он меня неестественно ровным голосом.

– Шестнадцать, – ответила я ему почему-то, хотя мне уже было двадцать пять.

Но он уже не слышал меня, шагнул в сторону дачного поселка, вдруг передумал, остановился и снова повернулся лицом к лицу:

– Это дачи?

– Это дачи «Верхние грязи» – отвечала я поспешно, словно он мог наказать меня за промедление.

Это дачи «Красный газетчик», – поправил он меня уверенно.

Может быть, и так, ведь я последние годы обходила дачные постройки стороной. То, как он спрашивал и поправлял меня, говорило о том, что он еще находится в плену своего тяжелого воображения. Он стоял чуть откинувшись назад, но выдвинув одно плечо углом вперед, Как стоят люди, которым тягостно любое общение. И я решила бежать, но он принялся с любопытством разглядывать меня, удивляясь, видимо, нелепости моего появления. Тоже! Тогда я надумала дерзить дальше, но не складывалось. Длинно и путано я передала ему ироничное приглашение тети Стаси. Ничего более умного и колкого я не могла придумать.

– Кто это – тетя Стася?

– Моя тетя, – ответила я и, наконец, увидела, как жалко я выгляжу в штопаном платье и с тряпочками. Горько, стыдно.

И пока я отчаивалась, он обошел меня и направился к дедушиной даче. Шел он широким шагом, слегка опираясь на порядочно растрескавшуюся трость, которую через десяток шагов отбросил в сторону. В нашем приглашении и в своем невысказанном согласии он, видимо, не видел ничего предосудительного. Хотя... мог быть более галантным. Я тихо рассмеялась своим неожиданно появившимся легким идеям и побежала за ним, думая, что тетя Стася сейчас от страха забила в самый дальний чуланчик. Но она нас

встретила на террасе, улыбнулась давно забытой нами улыбкой хозяйки дома. Все же женщиной она была удивительной.

– Ирина так быстро сбежала вниз, и я не подумала, будет ли удобно ...

– Владимир Владимирович, художник, – отрекомендовался он, хмурясь от дыма папиросы.

– Анастасия Александровна. Очень рады. Не судите нас строго, Владимир Владимирович. У нас просто. Пройдемте в комнаты.

– Тетя Стася, – остановила я ее. – Было бы удобней пить чай на террасе. Здесь свежо и нет солнца.

Тетя Стася покорно закивала головой: да, да, да ...

В комнатах, кроме железных коек, почти ничего нет. А на террасе стояли старенькие плетеные кресла и круглый столик, который мужики из соседней деревни, безусловно, отказывались покупать. Владимир сел в одно из кресел.

– Ирина расскажет вам дачные новости, а я пойду приготовлю все для чая, – сказала тетя Стася и оставила пас. Уходя, она растерянно и беспомощно взглянула на меня. Я молча отвернулась. Молчал и Владимир. Сидел он свободно и свободно смотрел на открывавшиеся с террасы поля. Потом пристально всматриваясь в мои глаза, произнес:

– Газетчики нам не нужны, ни красные, ни белые. Так ведь? – вдруг громко захохотал. Я вздрогнула.

– Смешно было на меня смотреть? – спросил он.

– Нет, – отвечала я, не хотелось юлить перед ним, пусть знает.

Владимир тяжело, в упор взглянул на меня и вновь надолго умолк.

За чаем он сделался бизнесменом-американцем, приехавшим в Россию видеть «русски дух» и наконец выполнявшим свое последнее желание «пиит на руски датче тии и сбитан». Представлял он все это так естественно и славно, что мы с тетей Стасей только смеялись. Позже он рассказал нам немного об Американской республике, из которой вернулся, об американских женщинах и конгрессе.

Тетя Стася вспомнила, что мой папа тоже был в Штатах. Он был капитаном третьего ранга, и когда-то его крейсер швартовался в порту Сан-Франциско. Папа об этом рассказывал. Владимир спросил, где он сейчас.

– Ирнин папа погиб, – ответила тетя Стася. – В морском бою у берегов Финляндии в пятнадцатом году. – О-о, он был очень интересным мужчиной. – добавила она, желая, видимо, на всякий случай высказать все достоинства моего отца.

Тетя Стася настороженно поглядывала на гостя, внимательно слушавшего ее, говорила неровно и тихо, отчасти страшась посвящать неясного человека в семейную хронику, отчасти недоумевая и радуясь, что кому-то еще интересна недолгая судьба ее брата, капитана Кустарина. Смелости у нее рассказывать хватило ненадолго, и она скоро на полуслове испуганно и виновато примолкла.

Получилась пауза. Я ее приняла спокойно, хотя, конечно, что может быть

приятного в том, что хозяевам не о чем говорить с гостем? Но что делать, мы разные, чуждые друг другу люди: какие у нас могут быть беседы? Владимир, верно, тоже легко переносил молчание, укротив свои губы, сидел и думал о своем. Нужны ли ему диалоги? Вот только тетя Стася отчаянно забеспокоилась. Она пугалась тишины в кругу близко сидящих малознакомых людей, бог знает, о чем сейчас все думают. Вернее, что думает он, что он хочет, этот незнакомец, может быть, совсем плохое... И о чем сейчас думать ей самой, что делать, если не привычно слушать или говорить? И она попыталась вновь завязать разговор, заговорив от робости нелепым высокомерным стилем:

– Собственно, милостивый государь, над чем вы сейчас изволите работать?

Владимир по-ребячьи изумился вопросу и стилю:

– Что?

Тетя Стася совсем оробела. Она поспешила исправить слог, но ее качнуло в другую крайность, теперь голос ее прозвучал, как у стыдливой курсистки:

– Я кому... Вы давечи изволили сказать ... К тому, что ... Ведь вы рисуете картины, то есть я хотела, сударь, сказать, пишете. Если можно, какую картину вы сейчас рисуете? То есть пишете?

Владимир раскурил притухший окурок папиросы, торчавший у него меж губ, выдвинул свой тяжелый бритый подбородок и, чуть покачивая ногой, закинутой на другую, ответил:

– Я, собственно, сейчас не пишу. Сейчас все больше пишут обо мне. Я же предпочитаю играть в шахматы, ходить в гости к дачникам.

Лицо его приняло менторское выражение, с каким он вошел к нам на террасу, и говорить он стал размеренно и весомо, как пророк. Быть может, он много выступал на сцене, но мы с тетей Стасей мало годились для аудитории. Наверное, он скоро это понял, оглядел нас, собрал морщины на лбу, улыбнулся мягко и разом стал обыкновенным, каким бывает уставший от повседневных дел мужчина в хорошо сшитом костюме. И это более всего меня подкупало. Потом он стал искренне и доверчиво говорить:

– Вот ... не пишется мне, Анастасия Александровна. Но беда не в этом, а в том, что мне отказывают в этом простом праве: не писать. И недруги, и друзья. Ругают.

Я поразились человечности его откровения и сердцем пожалела его. Тетя Стася по-бабьи пригорюнилась и, как всегда не к месту, спросила:

– У Вас есть дети, Владимир Владимирович?

Владимир вздрогнул и сам же виновато посмотрел в глаза тети Стаси, так что у той тут же повлажнели глаза, и она заморгала.

Мне стало еще жальче его, но как это ни стыдно, я втайне обрадовалась. Вот он пришел, мой сильный человек Я чувствовала, знала. Он устал от людей, от того мира и пришел ко мне. Он еще молод, одинок. Мы могли бы иметь детей, конечно, ведь он не женат, обязательно не женат. Мысль эта даже не показалась мне безнравственной и глупой. Я так долго ждала... Но даже в эту минуту, как я думала, горькую для него признанием

одиночества и человеческой усталости, была физически ощутима, словно дыхание, исходившая от него сила жизнеутверждения. Широкий и высокий лоб, крупные черты лица делали его схожим с идолом, и, как идол, он влек к себе легко и властно. Но была вокруг него и некая пространственная отдаленность. Не идол, которого можно украсить цветами и задобрить подношениями в глиняных мисках, а монумент. Густой загар покрывал его неживой бронзовостью.

Владимиров много курил, и когда его пачка оказалась пустой, он помрачнел. Я не отрываясь смотрела на него. Он поражал и владел мною. Он мог взять меня своими пальцами и выдернуть, рассматривая бескровные легкие, усталое сердце, маленькие мои мечты, ссохшиеся, как апельсиновые корки, и жалкую радость говорить и видеть его. И в то же время я готова была отдать свои последние жалкие силы, малый разум свой, тепло свое грешное. И спаси! И я решилась:

– Вам надо уйти от них...

Если бы он понял меня, должен понять предрешенную тягу и спасительную любовь к нему. Ведь Пушкину стоило только уехать – жив. Здесь среди полей – покой.

Однако он ответил неожиданно жестко:

– Надо, надо уйти и бить телеграфные столбы. Забавное, надо сказать, занятие. Мне понравилось. Но жить всегда только среди них – это непозволительная роскошь.

Обидно. Мне стало очень обидно. Роскошь! Какой ценой она нам далась, эта роскошь! Но ведь мы-то живы. Живы... наверное, все-таки живы. Как мне хотелось в этот миг высказать ему все. Но я сдержалась, хотя удерживаться с каждой минутой было все труднее и труднее, так больного азиатской холерой мучительно подташнивает и он, истощенный и слабый, знает, что сейчас его начнет рвать желчью.

Я сидела отброшенная, сбитая совсем в комочек. Надо же... Тетя Стася, которой простились ее бесцеремонные вопросы, сидела почти счастливая. Несмотря на все ее старческие опасения все шло, как ей казалось, почти водевильно. Во всем этом она сейчас видела забавное происшествие. Исчезла ее настороженность, робость, натянутость в разговоре. Я не узнавала тетю Стасю. Старушка оживилась, открыто говорила, смеялась. Владимиров же все заглядывал в опустевшую пачку папирос. Тетя Стася была в восторге. Еще бы. За долгие годы это наш первый визитер в когда-то весьма гостеприимном доме. Как она когда-то любила встречать и потчевать гостей, особенно таких элегантных, тонких и прогрессивных господ, как этот художник, и он у нас уже второй час! Тетя Стася одно время даже пыталась петь. И все повторяла:

– Ах, как жаль, Ириша, что Вера разбила гитару. Вы любите романсы, Владимир Владимирович?

Я сидела молча, раздираемая своим несчастьем. Владимиров встал.

– Нет, нет... Только не уходите, – испуганно прошептала тетя Стася. – Так

скоро...

Глаза у нее заслезились, как у глупенькой попрошайки, которой снова не подали даже корочки. Она неловко, боком привсталась. Мешочки под глазами у нее затряслись, а губы вытянулись вперед, как у морщинистой обезьянки. Мерзкая, жалкая старуха! Такой глубины падения мы еще не достигали. Никогда никто не слышал от нас жалоб, как бы нам ни приходилось плохо. Мы никогда не были богаты и, как все наши предки, жили на жалованье. Служивая дворянская семья, и только гордость отличала нас от разночинцев. Мы всегда дорожили ею, лелеяли ее. И вот теперь... Все было потеряно. Это было завершением маленькой трагедии дома Кустариных. Я закусил губу, страстно желая острой боли. Но боль была только там, под сердцем. Все, теперь напроць потерял сильный человек.

Тело мое напряглось, руки и ноги стали, как каучуковые, тянуться, глаза косят. Передо мной появились блекло-розовые певистые пятна. Они визжали и верещали, как зверюшки. Я тоже кричала, бормотала странности, умоляла не слушать, проклинал а эту жизнь, себя, удачу. Пусть, пусть! Ведь всему есть предел. Скажите ради всего святого, ведь есть же всему предел?! Все равно все потеряно.

Что он слышал? Верно, то, что каждое рождественское утро к нам в спальню входил папа и кричал петухом. А мы просыпались, не понимали зачем, хотя ночью обещали друг другу не заснуть, бросались к нему и висли у него на шее, маленькие, смешливые. О том, как у мамы отнялись ноги, когда она узнала о смерти капитана третьего ранга Кустарина, и о том, как она тихо и быстро скончалась, не успев оплакать мужа. О том, как студенты, уходя на фронт, присылали цветы, а этот Антон, х-ха-ха... пытался объясниться, а ведь он картавил! О том, как умер от воспаления легких мой братик дома, в Москве, в ту зиму не топили, а врач отказался приехать – на улице стреляли. О том, как мою сестру Веру изнасиловали в Одессе портовые мальчишки, она спилась и сгорела от водки там, одна, потерянная, а ее муж Алексей, чуть позже, нашел нас в Москве, сидел грязный и вшивый, хвастал, что выбивал одним ударом до пяти зубов мужепесам в Полтаве. Тетя Стася выгнала его, так и не сказав ему о Вере, бросившейся искать его на юге. О том, как он вернулся и попытался убить нас топором. О том, как в нашу опустевшую квартиру вселили вдову красноармейца с детьми и как ее брат, вскоре приехавший жить с ней, захватив и всю свою семью из деревни, подкарауливал нас в полутемном коридоре и зло-плутовато показывал все тот же топор. О том, как мы бежали сюда с тетей Стасей, скрываясь от людей и времени, и делали вид, что у нас все благополучно. Может быть, дачники правы: мы не в своем уме?

«Нет, они ошибаются», – сказал Владимиров. Теперь он стоял, казалось, не только надо мной, но и над террасой, над дачей. «Но я все равно не могу остаться здесь». «Почему?!» – спросила я. Он грустно сказал: «У вас тут топор».

Когда я очнулась, был уже вечер. Серенький, душный. Тетя Стася сидела бочком на кровати рядом со мной и ждала, когда я открою глаза. Я посмотрела

на нее, она обрадовалась и стала умиленно улыбаться. Но во мне царило полное безразличие и к ней, и к себе, и к миру. Если не радость, то хотя бы душевная пустота без томления и боли. Я так давно желала ее.

– Он ушел? – спросила я.

Тетя Стася кивнула, потом, низко наклонившись надо мной, опять зашептала:

– Ты знаешь, Ириночка, он поначалу показался мне приличным господином ...

– Я сильно кричала?

– Что ты, Ириша, что ты? У тебя случился легкий обморок, доктор говорил, от жары, – изумилась тетя Стася, но стала прятать глаза.

– Неправда. Что было?

– Ну ... обморок. Правда, тебя немножко дергало. Но ты не кричала.

– А он?

– Он. Он ушел. Правда, прислал доктора.

Ушел. Вот и все. К чему мы ему? Он ушел к тем, от кого, как мне хотелось думать, бежал ранним утром неистово бить столбы. Но бежал не к нам. Да бежал ли он? Куда? Никуда.

– Знаешь, – сказала я, в общем-то обращаясь не к тете Стасе, а словно ни к кому. – Мне показалось на миг, что он памятник.

– А что ... похож, – сказала тетя Стася.

Мы прожили на этой даче еще некоторое время. Но что-то защищавшее нас истончилось и стало неприятным, как паутина на лице.

– Тетя Стася, так больше нельзя. Я хочу рожать детей, работать, ходить в театр. Идемте к людям.

И не надо о сильном человеке, он не придет и не протянет руки. И не надо, думать, что мы здесь спасены. Нет спасения от жизни.

– Да, да, да. Мне трудно и страшно, но без тебя я совсем ничто, – забормотала тетя Стася. – Я бессовестная эгоистка. Действительно, тебе надо жить.

Мы собрались, крестьянин из соседней деревни заколотил досками окна и двери дедушкиной дачи, и выехали в Москву.

У меня будут дети, старший погибнет в сорок шестом году на границе с Ираном. Тетя Стася задумает перед самой войной в последний раз взглянуть на камни Кронштадта и исчезнет в блокаде на острове Котлин. Муж уйдет на фронт в краснопресненском ополчении. Мы потеряемся. Еще два долгих года он будет искать нас в кишлаках под Самаркандом, а мы его на Волге, не знаю почему... наверное, потому, что он всегда мечтал жить на ней. Вернется он больным, и долго будет страдать воспалением костей. Я буду болеть. Больницы, курорты с грязевыми ваннами, знахарки с травами...

А москвичи по-прежнему бегают, так и не научились прохаживаться, когда в экипаже нет надобности. Его я давно не жду. Хотя купила еще до войны пачку папирос.